

П у б л и к а ц и и

СТАСИС ШАЛКАУСКИС. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» КАК ГЕНИАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

*Подготовка текста, публикация, предисловие и примечания
Маргариты Варлашиной*

Литовский философ Стасис Шалкаускис (1886–1941) изучал юриспруденцию и экономику в Московском Императорском университете в 1905–1911 гг. Во время пребывания в Москве он участвовал в деятельности Литовского студенческого общества, в 1907–1908 гг. прочел там несколько рефератов, в которых дал «общую критику установок и идеалов литовских студентов». В те годы в российских университетах господствовали революционные и нигилистические настроения, и большинство студентов-литовцев перенимали подобное расположение духа у русских студентов. Шалкаускису же это было чуждо. Как впоследствии вспоминал сам философ, «разрушительные установки и нетерпимость в отношении инакомыслящих всегда меня ужасали». Поэтому, как предполагает Ю. Гирнюс, «рефераты Шалкаускиса должны были предупреждать студентов-литовцев не идти вслепую по стопам русских». Позже Шалкаускис вынужден был по состоянию здоровья, начиная с 1908 г., проживать в Самарканде – для укрепления слабых легких требовался теплый климат. В Самарканде Шалкаускис готовился и к экзаменам. В апреле 1910 г. он вернулся в Москву для сдачи экзаменов и пробыл там около года.

В годы пребывания в Москве Шалкаускис участвовал в Религиозно-философских

собраниях, центре русского богоискательства. Позже Шалкаускис напишет, что «все это было для меня и ново, и одновременно соответствовало моим духовным востребованиям». В то время Шалкаускиса заботило «дело выяснения своего мировоззрения», так как еще в гимназии он усомнился в существовании Бога.

После сдачи экзаменов Шалкаускис вернулся в Самарканд, где проживали его брат и сестра – все они в солнечном Туркестане спасались от туберкулеза легких. Работа помощником адвоката казалась Шалкаускису неинтересной, свободное время он уделял философии, переводил для журнала *Ateitis* сочинение Владимира Соловьева. Именно этот русский философ, а также французский эссеист Эрнест Хелло (Ernest Hello, 1828–1885), произведения которого были знакомы Шалкаускису еще с гимназических времен, определили христианскую направленность его мировоззрения.

Первая большая самостоятельная работа «Церковь и культура» (на литовском языке), напечатанная в 1913–1914 гг. в журнале *Draugija*, не только принесла известность ее автору, но и способствовала получению стипендии для обучения в Западной Европе. Так сбылась мечта Шалкаускиса изучать философию в Фрибурском Католическом

университете. Так Запад сменил Восток, а платоновская, по сути, философия Вл. Соловьева в восприятии Шалкаускаса дополнилась схоластическими элементами. Студенческий путь Шалкаускаса завершила диссертация “L’Ame du Monde dans la philosophie de Vladimir Soloviev” (1919), год спустя изданная в Берлине¹.

Работа Шалкаускаса «*Братья Карамазовы* как гениальная эпопея всечеловеческого духа» хранится в Рукописном отделе Научной библиотеки Вильнюсского университета под шифром F 140–268. Этот опыт прочтения последнего романа Ф. М. Достоевского – студенческий, написанный, возможно, для сдачи зачета или экзамена. Можно предположить, что работа написана зимой 1911 г.

«*Братья Карамазовы* как гениальная эпопея всечеловеческого духа» являет собою 16 страниц машинописного текста, снабжена планом работы всего из двух пунктов. Этот труд не окончен – об этом позволяют судить рукописные выписки из романа *Братья Карамазовы*, представляющие собой заготовки цитат для каждого из Карамазовых – Федора Павловича, Ивана, Алеши, Смердякова.

В ходе подготовки к публикации сочинение Шалкаускаса оформлялось соответственно нормам современной орфографии и пунктуации, были исправлены отдельные ошибки и опечатки (они в публикации не отмечены). Синтаксис и лексика сохранены полностью в их оригинальном виде. Цитаты из романа *Братья Карамазовы* выверены по *Полному собранию сочинений* Ф. М. Достоевского в тридцати томах, пропуски в цитатах оформлены квадратными скобками.

Работа Шалкаускаса представляет несомненную ценность для исследователей творчества Достоевского как результат восприятия романа *Братья Карамазовы* сознанием индивидуума начала XX века.

¹ Juozas Eretas, *Stasys Šalkauskis*, New York: At-eitininkų Federacija, 1960, p. 1–63; Juozas Girnius, „S. Šalkauskio asmuo, darbai, poveikis“, *Stasys Šalkauskis, Raštai. T III.*, V.: Mintis, 1993, p. 5–44.

І. Душевная драма Достоевского и его творчество.

П. – I) Сущность Карамазовской стихии – животная основа человеческой природы. Жажда жизни и гимн к радости, как бесспорная наличность жизненной психологии человека. Жизненный критерий в поисках истины – жизнеспособность и жизнерадостность.

Во всех трагедиях, как созданных человеческим творчеством, так и в происходящих в действительной жизни, есть нечто общее, что позволяет говорить об основной трагедии человеческого духа. Это нечто общее для всех трагедий и заключается в несоответствии между формальной неограниченностью, или идейной абсолютностью, человеческого духа и материальной ограниченностью жизненных, субъективных и объективных, условий человеческого существования.

Тиски железных законов материальной природы тяготеют роковым образом и над жизнью животных, но там не может быть сознания своей духовной абсолютности, а потому не может быть также и трагического положения. Трагедия – удел человека, и в этом – обаятельное величие его страдания и отчаянная надежда на искупительную силу катастрофы.

Обе несоразмерные стихии человеческой природы в своем развитии стремятся в противоположные направления. Дух человеческий, исходным пунктом которого является только потенциальная неограниченность, стремится до-

стигнуть действительной универсальности. Психо-физическая же организация человека, материально во всех отношениях ограниченная, стремится закрепить свою обособленность в индивидуальной форме животного вида. Индивидуальность формы и универсальность содержания находят условное соединение в живой человеческой личности, в которой, однако, не происходит еще полного совпадения и окончательного примирения этих полярных стихий, от чего и противоположность их переживается как основная трагедия человеческой жизни.

Весьма знаменательно, что трагизм жизни и трагизм художественного творчества представляют собой полную аналогию. Чем в жизни является человеческая личность, тем в творчестве служит символ, соединяющий нематериальную идею с материальным знаком. В искусстве универсальность содержания сочетается с индивидуальностью формы в образах конкретных и жизненных. И образы эти художественны лишь постольку, поскольку они порождаются тем непреднамеренным, естественным символизмом, который составляет неотъемлемую черту истинно прекрасного творения.

Совершенство идеи, т.е. содержания, должно совпадать с совершенством знака, т.е. формы, – вот основное правило художественного творчества, а между тем правило это не может найти полного осуществления в пределах нашей действительности. Величайшие творческие порывы и замыслы беспомощно разбивались и разбиваются о несовер-

шенство формы нашей жизни. Можно уверенно даже сказать, что величие творческого гения измеряется силой переживания трагедии художественного творчества, которая, в сущности, представляет собою частный вид основной трагедии человеческого духа. Отсюда проистекает та тесная связь, которая бесспорно существует между истинным творчеством и действительной жизнью.

Изложенные предпосылки должны нам служить руководящим началом при разборе замечательнейшего произведения Достоевского, каким, на мой взгляд, является роман «Братья Карамазовы». В этом произведении Достоевский подвел итоги своей жизни и творчества, которые всегда переживались им в живой нераздельной связи.

Достаточно беглого взгляда на судьбу и деятельность Достоевского, чтобы убедиться, что его жизнь и творчество носят на себе отпечаток особенного трагизма. Какой-то своеобразный ореол мученичества знаменует чело этого Великого Каторжанина. Разительный контраст представляют условия его внутренней и внешней жизни. Ничем несдерживаемой свободе его вечно мятущегося духа соответствовали в действительности сковавшие его тяжкие кандалы. Духовная свобода и материальное рабство характеризуют не только каторжный период жизни Достоевского, но и всю его судьбу. Но вся сила и тяжесть душевной драмы Достоевского не во внешних условиях его жизни. Известно, что на отбытую каторгу Достоевский смотрел как на своего рода искупление своей жизни и ушел оттуда

более, чем когда-либо нравственно примиренным, хотя в его поступках нельзя было усмотреть ничего столь предосудительного, что могло бы хоть отчасти оправдать строгость примененной к нему репрессии.

То, что всю жизнь удручало Достоевского и было источником его мучительнейших душевных страданий, имело свои корни в материальной его природе, в его психо-физической организации, отмеченной чрезмерной впечатлительностью как к порывам животной стихии, так и к высоко-идеальным устремлениям. Трудно найти другого в мире писателя, который умел бы так, как Достоевский, проникать в бездну чувственной стихии человека и в то же время так живо, как он, ощущать красоту духовного идеала. Эти дарования были присущи ему только потому, что вся его жизнь представляла собою отчаянную борьбу двух непримиримых стихий, которые наполняют человеческое существование.

Трагизм душевной борьбы Достоевского усугублялся еще тем, что психо-физическая его организация, обнаруживающая признаки вырождения, не обладала достаточно сильными задерживающими центрами. При всем этом внутренний опыт Достоевского тем более ценен, так как при его необычной впечатлительности трагедия человеческой жизни переживалась им с исключительной остротой. Поэтому, когда нам говорят о больших нравственных падениях Достоевского, мы должны во имя справедливости вспоминать о его подъемах на те головокружительные высоты человеческого духа,

где он остается в своем одиночестве нравственно гениальным.

Таким образом, упомянутая мною формула трагизма человеческого существования, как несоответствие между идейной абсолютностью человеческого духа и материальной ограниченностью психо-физической природы, нашла в личности Достоевского глубоко субъективное выражение, и потому разрешение ее в том или другом смысле было для Достоевского вопросом первостепенной важности, так сказать, вопросом его духовной жизни или смерти.

Его творчество и было сплошным усилием разрешить великую проблему человеческой жизни. Замечателен при этом тот путь, по которому шел Достоевский для достижения своей цели.

Как писатель-психолог, он пользуется для разрешения проблем человеческого сознания прежде всего не логикой ума, а логикой чувств. В этом отношении он с несравненной ни с чем виртуозностью умеет извлекать из чувств такую силу доказательности, что отвлеченные рассуждения по сравнению с их голосом кажутся совершенно неубедительными.

Достоевский, можно сказать, создал целую философию чувств и тем самым как бы доказал, что человеческий ум, не приведенный в гармонию с волей и чувством, не может постичь всей полноты истины: только сочетание всех этих трех способностей человека в стройной системе органического синтеза может создать цельную личность, способную познать истину и воплотить ее в сознании и в жизни.

Однако Достоевский, сам по себе, не представлял собою такой цельной личности: разлад ума, чувства и воли всю его жизнь вызывал в нем массу диссонансов; при этом каждая из этих стихий в отдельности способна была достигнуть большого напряжения и действительно достигала. Вследствие же различной их комбинации при постоянной смене переживаний и настроений, в личности Достоевского возникало необычайное многообразие психологических возможностей, и ему стоило лишь путем самоанализа, к которому от природы он был весьма склонен, расчленив это многообразие на отдельные группы, чтобы получить из себя целую галерею типов.

Но, кроме проникновенного самоанализа, Достоевский обладал еще необыкновенной наблюдательностью, которая позволяла ему расчленение многообразия своей личности производить по категориям, созданным русской действительностью. Отсюда проистекает тесная связь между личным и национальным элементами в произведениях Достоевского вообще и в «Братьях Карамазовых» в частности. Так, кажется, все Карамазовы, не исключая и старика Федора Карамазова, присущи в одинаковой мере характеру самого Достоевского, представляя собою разные стадии его духовного развития, совместимые, пожалуй, в один и тот же период его жизни, — и в то же время почти все русские национальные типы, начиная с Иоанна Грозного и кончая Владимиром Соловьевым, могут быть отнесены с известным приближением к тому или другому из Карамазовых.

Возможно, что в связи с многообразием собственной личности у Достоевского возникла идея Всечеловека как русского национального идеала, который представлялся Достоевскому индивидуальной формой, вмещающей универсальное содержание.

«Я человек и ничто человеческое не должно быть мне чуждо», как бы говорит устами Достоевского Всечеловек.

В «Братьях Карамазовых» в рамках, казалось бы, весьма заурядной действительности, разворачивается во всей универсальности эпопея всечеловеческого духа. Действие происходит в мелком городишке, названном Достоевским, очевидно, неспроста, Скотопригоньевском. Здесь задался Достоевский целью обрисовать как из человека-животного рождается новый духовный человек. Проследить этот процесс в его логической и психологической последовательности составляет нашу ближайшую задачу, и для этого мы должны начать с выяснения вопроса, что такое Карамазовщина.

Сущность Карамазовской стихии, получившая вполне конкретное национальное выражение в «Братьях Карамазовых», имеет широкое общечеловеческое значение. Это просто животная основа человеческой природы как неизбежное роковое условие реального существования человека в рамках нашей земной действительности. Животная жажда жизни, как и все в природе, бессознательна и безудержна, она отличается всегда непосредственностью своих проявлений, и цель ее достижений не выходит за пределы настоящей минуты. Такова «земляная карамазовская сила»,

неистовая и необделанная, представляющая собою в человеческой жизни тот природный хаос, который служит исходным пунктом для созидания человеческой личности.

И действительно, карамазовская стихия является единственной бесспорной наличностью человеческой психологии, без которой невозможно осмыслить цель и значение жизни, так как без воли к жизни не может быть и стремления к активной деятельности вообще и к познанию в частности. Жажда жизни заключает уже в себе, как необходимые, причину и следствие, любовь ее и радость. Правда, каждый человек, в зависимости от своего внутреннего содержания, любит жизнь и радуется ей по-своему, но у всех радость жизни имеет общее происхождение из карамазовской земляной силы, которая питает всегда в человеке внутреннюю, подчас бессознательную, но всегда отрадную веру в глубочайший смысл жизни.

«– <...> не веруй я в жизнь, – говорит Иван Карамазов своему брату Алеше, – разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования – а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока весь не осилю!.. <...> Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту испуганную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого <...>. Жить хочется, и я живу, хотя

бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем. <...> Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? – засмеялся вдруг Иван.

– Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить – прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, – воскликнул Алеша. – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

– Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

– Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно [чтобы] прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно мерещится».

Многоопытный старец Зосима дает нам ключ к пониманию того, почему именно жизнь следует полюбить прежде логики и раньше постижения ее смысла. Прибавлю, кстати, что это тот старец, который особенно сожалеет об участи самоубийцы.

«– Бог, – говорит он, – взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения

[своего] таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то и умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее».

Переводя образную речь старца на отвлеченный язык, можно было бы сказать, что то творческое начало, которое порождает жизнь, сообщает ей и надлежащий смысл, а поэтому правда о жизни должна быть жизнеспособной. И если Достоевский в своих поисках за смыслом жизни избирает своим отправным пунктом карамазовскую стихию как бесспорный факт безудержной жажды жизни, возникающей на почве животной природы человека, то основным критерием в этих его исканиях служит то несомненное положение, что истина не может не быть жизнеспособной.

Мало того, истина должна быть еще жизнерадостной... «— <...> для счастья, — говорит тот же старец Зосима, — созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые, все святые мученики были все счастливы.» А между тем счастье невозможно для человека вне любви к жизни. Вот почему Зосима завещает любить землю — эту материальную основу жизни: «Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои.»

Здесь находит свое оправдание «земляная карамазовская сила». Дмитрий, этот воистину сын Карамазовский, в момент великого унижения и тяжелого

сознания своего позора начинает гимн к радости: «Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть.» И хотя жизнерадостность Дмитрия, по его же собственному признанию, нераздельна со сладострастием, свойственным мелким насекомым, однако это обстоятельство не лишает его надежды на возможность перерождения, так как:

«Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступи в союз навек»

Пусть после этого Алеша, не завершивший еще своего развития окончательным самоопределением, сомневается, носится ли Дух Божий над земляной карамазовской силой, но для нас несомненно, что веще око Достоевского проникло бездну карамазовской стихии, и ясно узрело над ним полет творческого духа. Достоевский сам на себе испытал его действие, и он нам рассказывает великие дни творения нового облика всечеловеческого...

Родоначалником Карамазовых, по идее романа, является старик Федор Павлович Карамазов. Это типичный носитель обнаженной животной стихии. Поэтому его характеризует отсутствие в его характере всякой противоположности между духовным и материальным, отсутствие всякой двойственности и борьбы идейных и чувственных порывов. Это в своем роде цельная натура, которой

чужды какие-либо колебания или уклонения с того единственного естественного для них направления жизни, каким является практический материализм.

Один его внешний облик уже весьма рельефно выражал внутреннее его содержание. «Физиономия его, – говорится в романе, – представляла к тому времени (т.е. к началу повествования)² что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой [им] жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщин[ок] на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мысистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающейся горбиной: «Настоящий римский, – говорил он, – вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка.» Этим он, кажется, гордился.»

Неосновательно было бы ожидать в таком человеке высшего ума, развито-

го независимо от условий материальной жизни интеллекта, но зато можно в нем предполагать чрезмерно развитую чувственность, заглушающую все истинно человеческое. И действительно чувственность в Федоре Павловиче переходит в разврат, решительно ничем не брезгающий, корыстолюбие побуждает его открывать кабаки и доходит вплоть до мошенничества, скупость заставляет его радоваться, когда кто-либо пристраивает у себя его детей, так как иначе он злонамеренно о них забывает и не считает нужным озаботиться об обеспечении им достойного существования.

Однако ничто не мешает такому человеку проявлять много практической рассудительности в делах, которые сулят ему материальную выгоду. Чувственность и корыстолюбие идут у таких людей рука об руку и развивают в них те умственные способности, которые служат для удовлетворения их низменных наклонностей. В других отношениях такие люди отличаются кр[айней] бестолковостью. «Это был, – говорит Достоевский, – странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем бестолкового, – но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норвил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч [рублей] чистыми деньга-

² Замечание принадлежит С. Шалкаускису.

ми. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, – а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.»

Бестолковость этого человека в достаточной мере обнаружилась, например, в его отношениях к первой жене. Началось с того, что он тайно обвенчался с ней, увезя ее от ее родни. Будучи супругом он переносил от своей жены побои. Когда же она сбежала от него, то он с каким-то самодовольством разыгрывал роль обиженного супруга и даже с прикрасами расписывал подробности о своей обиде. Узнав же в пьяном состоянии о ее смерти, он, «говоря, побежал по улице и начал кричать, [в радости] воздевая руки к небу: «Ныне отпускаеши», а по другим – плакал навзрыд как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, – добавляет Достоевский, – что было и то, и другое, то есть что и радовался [он] своему освобождению, и плакал по освобожденнице – все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем».

Это наивное простодушие позволяло Федору Павловичу быть иногда сентиментальным, будучи в общем злобно настроенным, или быть при известных обстоятельствах расточительным, будучи, как общее правило, скупым. С полу-

пьяного умиления он умеет расхныкаться над душевной чистотой своего младшего сына Алеша и тут же поносить его же дорогие святыни. Когда Алеша своим вниманием к гробу матери, второй жены Федора Павловича, напоминает ему о покойнице, то он вдруг везет тысячу рублей в монастырь на помин души своей супруги, но не той, о которой напомнил ему Алеша, а первой, которая его била и которая от него же сбежала.

Итак, все черты низменной природы человека сплелись в неразрывную цепь чувственной природы характера Федора Павловича Карамазова. Здесь животная стихия, вообще присущая природе человека, не нашла никакой сдержки и со всем стихийным безудержем явно обнаруживалась как в наружности, так и в жизни этого человека.

Наготу своей природы сознавал и сам Федор Павлович, и та доля человечности, которая, несмотря ни на что, в нем еще осталась, побуждала его, когда ему приходилось вращаться в кругу других людей, чем-либо прикрыть ее. И он, действительно, прикрывается колпаком шута.

Надо заранее принять во внимание, что никаких раскаяний, никакого угрызения совести за свою жизнь и поступки он не ощущает и поэтому не делает также ни малейших шагов к каким-либо переменам своей жизни, но все же необходимость прикрыть наготу своей животной природы от глаз других людей каким-либо одеянием он инстинктивно ощущает. Когда человек, попавший в комическое положение, сохраняет важный

вид, то комичность положения еще более усиливается; но если человек, [о]сознав свою смешную сторону, первый посмеется над собой во всеуслышание, то он тем самым смягчит комичность своего положения в глазах других людей.

Подобный приблизительно расчет руководил Федором Павловичем, когда он корчил из себя шута. Для него, например, в высшей степени характерен следующий эпизод в монастыре, куда собралась вся семья Карамазовых, предложив на усмотрение старца Зосимы разрешение семейного спора между отцом и старшим сыном Дмитрием.

Распознав с первого взгляда сущность старика Карамазова, старец между прочим обратился к нему со следующими словами: «Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит. – Совершенно как дома? – восклицает старик, – То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много, но – с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте... до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. <...> а вам, святейшее существо, вот что вам: восторг изливаю! <...> Вы меня сейчас замечанием вашим: «Не стыдиться столь самого себя, потому что от сего лишь все и выходит», – вы меня замечанием этим как бы насквозь проткнули и внутри прочли. Именно мне все так

и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот «давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!» Вот потому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда. От мнительности одной и буянню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, – Господи! Какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! – повергся он вдруг на колени, – что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? – Трудно было и теперь решить: шутит он, или в самом деле в таком умилении?

Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес:

– Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невозддержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хотя два [или] три. А главное, самое главное – не лгите».

Конечно, старик искусно играл и здесь свою роль шута, так как он ничуть не склонен был заботиться о своем спасении, что впоследствии и подтвердилось: приведенная сцена была лишь интродукцией к тому скандалу, который затеял сумасбродный старик в монастырских стенах.

Характерна его уверенность, что до натурального вида он и сам не дойдет, и действительно, до натурального вида он не доходит уже потому, что ощущает необходимость приодеться в шутовство.

Однако это не мешает ему быть по-своему цельным человеком и не сворачивать со своего жизненного направления.

«– Я, милейший Алексей Федорович, – говорит он своему сыну, – как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее. <...> Так вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно. В скверне-то слаще: все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинудись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу, это было бы тебе известно, да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и черт вас дерит. Вот моя философия».

«Твердо, дескать, стоит человек» – «Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне...» характеризует своего отца сын Иван; тут «сила низости Карамазовской» является единственной философией жизни. Весьма замечательно, что из всех многочисленных пороков Федора Павловича старец Зосима выделяет на первое место ложь: «А главное, самое главное – не лгите!» В каком смысле ложь составляет сущность жизни этого старика? – Вопрос этот разрешается в связи с другим вопросом, поставленным его же родным

сыном Дмитрием: «Зачем живет такой человек?»

В порывах чувственной материальной стихии, взятой самой по себе независимо от общей целесообразности, господствующей в природе, нет никакой устойчивой правды, нет целесообразной разумности отношений. Для человека же, как существа разумного, подчинение этой стихии является принципиально ложным, и поскольку оно бывает неизбежным, оно должно переживаться как трагизм человеческого существования. Отрицание этого факта, чем бы оно ни вызывалось – потворствованием своим прихотям или стремлением успокоить себя и оправдать роковой необходимостью, – есть заведомая ложь. Жизнь человека должна сообразоваться с разумным ее смыслом, и, если человек отрицает эту обязанность или фактически уклоняется от исполнения ее, то он прежде всего совершает ложь, недостойную и преступную.

Да, прав был старец Зосима, говоря Федору Павловичу: «А главное, самое главное – не лгите!» Здесь указывается на то, что философия последнего, охарактеризованная только его собственными словами, прежде всего ложная философия, и что возрождение должно начинаться с отказа от ее положений.

Однако, в философии Федора Павловича есть одна жестокая правда, относящаяся к фактической стороне жизни людей. «В скверне-то слаще, – говорит он, – все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто». Очевидно, эта всеобщность факта служила Федору Карамазову, как и множеству людей в

действительной жизни, для оправдания своего грубого эпикуреизма. Правда, философия грубого эпикуреизма редко проповедуется без каких-либо прикрас, но фактически ее придерживается огромное большинство людей: все тайком и лишь немногие открыто. Воистину, Скотопригоньевск Достоевского символизирует нашу печальную действительность.

Несмотря, однако, на распространенность философии Скотопригоньевска, сама жизнь наносит ей самый тяжелый удар. Достоевский инстинктивно остается верен самому себе, и подводит итог этой философии с точки зрения ее жизнеспособности и жизнерадостности. Если практическое ее применение в жизни не обеспечивает ни той, ни другой, значит, такая философия в корне своем ложная философия и не должна служить руководящим началом в человеческих достижениях.

Материальная природа, как известно, отличается косностью и непроницаемостью, вследствие чего две материальные вещи взаимно исключают друг друга в одном и том же пространстве. Прогресс в сфере материальной природы направлен к преодолению этой косности и созданию хотя бы только частичного видимого собирательного единства. Человек, при этом, как существо психофизическое, может полагать центр тяжести своей волевой деятельности или в сфере духовного объединения или в сфере чисто природного материального бытия, отличающегося, как сказано, косностью и непроницаемостью. В последнем случае отношение человека к существам себе подобным будет раз-

единяющим и потому антиобщественным, а так как всякое действие вызывает противодействие, то взаимные отношения людей в сфере исключительно животного существования неизбежно переходят в состояние взаимной вражды и рокового соревнования.

После этого вполне понятно, что Федор Павлович Карамазов должен был войти в столкновение с теми лицами романа, которые руководствовались побуждениями, наиболее сходными с философией грубого эпикуреизма Федора Павловича. Гений Достоевского, очевидно бессознательно символически, заставил столкнуться Федора Павловича с его же родными сыновьями Смердяковым и Дмитрием, так как для стихийной природы весьма знаменательна смена порывов созидающих и разрушающих: ведь оборотная сторона жизни – всегда смерть и уничтожение.

Федор Павлович не мог соревноваться в чем-либо со своим сыном Иваном, озабоченным разрешением вековых вопросов человеческого духа и заданий своей собственной совести; он не мог также соревноваться со своим сыном Алешей, сосредоточившим всю свою активную деятельность для духовной победы над жизнью, но он неминуемо должен был столкнуться со Смердяковым на почве соревнования в корыстолюбии и с Дмитрием на почве соревнования в безудержно страстной любви.

Роковое для Федора Павловича столкновение определялось характерами Смердякова и Дмитрия только потому, что в последних кипела та сила низости Карамазовской, которую они унаследо-

вали от отца. Собственная кровь восстала на Федора Павловича и собственная его жизнь произнесла неумолимый приговор над ним и его житейской философией. Да и иначе быть не могло.

Сын юродивой Елизаветы Смердящей и Федора Павловича, зачатый и рожденный при обстоятельствах исключительных, Смердяков был воспитан преданным слугой Федора Павловича – Григорием и его супругой. С самого раннего возраста он обнаруживал странную дикость, молчаливость и нелюдимость. К своим воспитателям он никогда не проявлял ни малейшей привязанности или благодарности. «В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвую кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку, в величайшей тайне.» «Ты разве человек, – говорил ему после наказания Григорий, – ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто...» Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов».

Григорий выучил Смердякова грамоте и стал было учить его Священной истории, но на третьем же уроке оказалось, что ученик сбил с толку своего учителя своим природным скептицизмом, заявив с усмешкой: «Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?»

Впоследствии, когда Федор Павлович приблизил его к себе, приняв в нем участие вследствие обнаружившейся у него падучей, он получил доступ к до-

машней библиотеке. Однако и здесь он не нашел для себя ничего интересного: «Вечера на хуторе близ Диканьки» ему не понравились, потому что, по его выражению, в них «про неправду все написано». «История» Смагардова оказалась ему скучной. Одним словом, ни к нравственным наукам, ни к изящной литературе, ни к теоретическому знанию Смердяков не выказал никаких наклонностей. Но зато из него вышел прекрасный повар: когда Федору Павловичу стало известно, что Смердяков стал проявлять ко всему какую-то необычайную брезгливость, он определил его в повара и даже послал учиться в Москву стряпчеству. Из Москвы он вернулся щеголем и щегольство в лакейском тоне сделалось чуть ли не единственной его страстью. В большом городе он не нашел ничего почти достойного внимания, с высокомерием стал относиться ко всему национальному, но создал в себе преувеличенное мнение о заграничном, а в особенности французском, что побуждало его учиться французским вокабулам и мечтать о заграничной жизни.

Федор Павлович был вполне доволен своим поваром и считал его исключительно честным человеком, так как тот сам вернул ему утерянные три радужные бумажки. Однако Смердяков косился и на Федора Павловича, как и на всех людей, и в душе даже презирал его. В общем на людей смотрел он свысока, а в поведении умел быть вызывающе надменным с оттенком подобострастной, чисто лакейской слащавости.

Самой существенной чертой психики Смердякова была созерцатель-

ность. С этой стороны Достоевский характеризует его следующим образом: «Иногда в доме же, аль хоть на дворе, или на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист, взглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет, а так какое-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель»: изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы

и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая, – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а, может, и село родное [вдруг] спалит, а, может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем».